

Искусство

№ 209

Четверг, 2 ноября, 1995

Денис Горелов
За рекой

Лучше б ему было отдать концы на год раньше. Не в семьдесят пятом, а в семьдесят четвертом. Тогда бы он не успел снять «Сало», и имя его не склоняли бы в одном ряду со всеми гнусными марксистами и прочими сорокинскими. Но судьба распорядилась иначе, и в память поколений он вошел автором картины, где дермо едят. Многие светлые умы искали глубинных подтекстов и открывали в этом омерзительнейшем из фильмов и не находили, да и не могли. Ибо сказано: «Не ищи в жопе смысла — там говно».

И убийцу его, несовершеннейшего проститута, забывшего славу и гордость Апеннин, проследжали в кутузке всего пару дней тоже неспроста.*

Что ни говори, сложной и многогранной натурой был маэстро.

Господи, какая же невообразимая каша творится в башке у настоящего коммуниста! Не полонка-икросла, илейного клеца и перерожденца, а чистого, пенного большевика с длинным хайром и огромным пульвером для настенной агитации. Дринк, дрянк, лав, эгалите-фратерните, Мао, Пальмиро, Че, ну, волосы, волосы, волосы. Красота. Красный из страны оливок и профсоюзом, монстр кино и левизны. Пьер Пазолини Пазолини лишь на шаг отошел от всей этой клокоушей лайбы в джинсовых лохмотьях, ибо к тому же был еще и религиозен — разумнее, в эстетике «Джизус Крайст суперстар», но и это лило для видного отрицателя, насмешника и задиры.

Возможно, эта его маленькая вера была последним спасением от студенческой ме-

*СЕГОДНЯ: Про то, что его быстро отпустили, рассказала на пресс-конференции в Москве директор Фонда Пазолини Лаура Бетти. Только что вышедший на мировые фестивальные экраны художественный фильм режиссера Марко Тулио Джорданы «Пазолини: итальянское преступление» (Pasinelli: un delitto italiano) завершается, однако, совершенно иным: маленькому убийце Пазолини дали большой срок. Фильм Джорданы, реконструируя историю убийства Пазолини, доказывает, что убийца было несложно (минимум двое), что расследование велось как-то уже слишком халатно (слишком странно халатно, если учесть, что смерть Пазолини всколыхнула всю страну), что за всем этим, возможно, кроется заговор неофашистов. Отчего же осужденный за убийство признал свою вину и все взял на себя? Оттого, что его кто-то убил: ему как несовершеннейшему ничто особеного не грозит. Фильм Джорданы представляет Пазолини последним великим поэтом XX столетия.

Пьер Паоло Пазолини
Антология

1

Передо мной Анна Маньяни, расположившаяся в глубине изысканной гостиной на диване, за драгоценной антикварной вешалкой, уставленной корбачками и подносками с изумительными сласотами. От меня наловину скрытая, она молчит. Белокожая, глаза — точно повязанная выше носа белоснежная черная косинка. Молчит, но спину дергает очень прямо, как, должно быть, ее бабка на пороге дома сотню лет назад. Но я чувствую: ее молчание тревожно, за черную поволоку глаз прохладит тени еще более темные, то замирая, то вдруг проявляясь вновь, то подвигаясь ею, как неслышная икота, то прорывающаяся, как взрыв смеха. Ясно, что присутствие людей ее обуздывает, заставляет удерживать себя в определенных рамках, будто расклевывающаяся жисткость норовит опять нырнуть в сосуд, чтоб затанцевать там внутри.

Она шлет хозяйке — отменное — шампанское, которое ей помогает. Несколько минут спустя встает из своего угла, кричит, что отправляется в уборную, пришла, садится посредине комнаты на стульчик в центре большого зеленого ковра. Сидит, как будто бы на снеге, — спина прямая, грудь высокая, красивая (она опять в хорошей форме), как ее бабка, в оленьи, представляющем собою удивительное сочетание последней моды с вечной модой простоплюнок Кампани или Романи, — и бросает своей позой вызов.

Повязка спала с белого лица, глаза теперь как будто плавают в смоле, поскрипывая робко и лукаво, украдкой бросаемые взгляды прерываются на попутти или меняют выражение, уничтожая или заставляя чувствовать себя тупом того, кто на нее глядит. Это ощущение точно сменяет нежность, как бывает с паренками, даже хулиганами, которые на мотоцикле ползают по проститутке, ждущей, неподвижно сидя, на какой-нибудь скамейке в Каракале. Перед ней, воплотившись вызова — самозащиты ради — теряются и самые легкие, и стоят как истуканы, будто бы в чудотворной статуи святой.

Вызывающий вид Анны может обернуться чем угодно, но нам непременно суждено услышать ее пение. Какой-нибудь куплет. Из старых, обновленный чуткою веселой выдумкою, завершающийся смехом. Пеннем не выражать себя она не может, так как выразить ей надо нечто смутное и целное — саму жизнь, свою и многих поколений римлянок, на свете живших до нее.

2

Из бокового переулочка, сплошь шершавого, на улицу, пролегушую вдоль Парюлетти, тоже вышербленную, выходит пареня; там несколько подобных переулочков, все они, как пересохшие потоки, стекают с Парюлетти на Пинето, к скоплению хибарок, старых деревенских домиков, приземистых оград из камня и многоэтажек, в которых не просях еще цемент.

Паренек чернявый, смуглокожий — только это и заметно в полутьме, благодаря которой белые его джинсы выглядят еще белей: едва надетые —

шавени в мозгах. Лишь господу известно, как могут уживаться в одной голове бурбонская ненависть к музыке толстых джазу и формалистическому искусству, ставшему на службу реакции, — с культом вечной красоты в лице Мерилин Монро, известнейшей подстилки столетия. Абсолютная фетишизированная свобода — с искренней теплотой католицизма, который, в отличие от Союза ССР, никакой фронды в Италии не символизировал. Сострадание к руинам Адена — с

Рыжий, красный — черт опасный

Двадцать лет назад на пустыре под Римом убили Пьера Паоло Пазолини

сочувствием к советским танкам, трамбующим востанчивый Будапешт. Распятие с партизмом.

А мне, ребята, по... ваши неуязвочки, — сказал бы на все это большой художник и в сотый раз оказался бы прав. Главное — художника-коммуниста до практики не допускать, и все будет путем, в небольших дозах они вполне разнообразят мир. В противном случае мир может остаться без джаза, формализма, покаяния и Венгрии — с одними Хрущевым, Гагариним и Мерилин Монро (я, конечно, представляю, какой праздник будет у двоичников и концептуалистов — а остальных каково?). Публицистический фильм «Ярость», из которого и почерпнуто яростное авторское кредо, довел до белого каления даже отъявленных синефилов: когда по экрану пошел перечень признательности лицам сохранившим и восстановившим, кто-то в зале мрачно буркнул: «И посмотревшим».

Порою своим нападкам коммунизмом, экстравагантной сексуальностью и ранними подвороненными эскападами а la Godard Пазолини здорово смахивает на Лимонова, к своему золотому юбилею тоже порядком подналовшего простому избирателю («Босая» и «Подрасток Савенко» просто чудо как похожи, то же касается и публицистической параллели «Ярость» — «Убийство часового»), — однако суть в том, что любовь Лимонова простирается исключительно на расасомо распространяемого Эднушку, тем он и неуязвим, а Пазолини искренне болеет за каждого угнетенного алжирского феллаха и хмурого сибеблунки за завода «Фиат».

Скорее всего, поэтому Пазолини и гений, а его товарищи по партии Лимонов с Маяковским — нет.

Вечную славу, посмертную олу и куст жидкости на могилу заслужил он тем, что с чисто итальянской экспрессией приподнял

телесный низ и приопустил душевный верх, стирая противоречие меж плотью и духом, заземляя и очеловечивая священное писание. Христос в «Теореме» явился источником любви именно не душевной, а плотской, перетравах подряд пятерых разнополых, но равно благодарных ему обитателей огромного дома. Тронутый иконописным ликом Теренса Стампа Ватикан поначалу даже сослупу наградил режиссера «за полнотину религиозность», но тут же прозрел и отобрал пре-

мью «за вопиющую аморальность» — и то и другое правильно. Просто апеннинский Прометей ни много ни мало заново переписал Евангелие, за что ему одновременно полагалось именное место как на облаке, так и на скорородке. И на то и на другое Пазолини плевать хотел: в ад он уже дважды лапил в «Декамероне» и «Кентерберийских рассказах», а рай ему, охамону и двустовке, не светил никаким боком.

Непомерную эту гордыню питала давняя итальянская традиция: художникам этой страны не раз приходилось приближаться к Богу, раскачиваясь в люльках над алтарем и расписывая купол светлыми ликами. Словно в подтверждение этого Пазолини сам сыграл Джотто в «Декамероне», на роль дэвы Марии в «Евангелии от Матфея» зарыл свою собственную мамочку, а играть Христа позвал Евстеньку. Приглашение левака в кватраре, ухнувшего дар на борьбу не с буржуазной силой темною, а с ожирением левой идеи, было высшим шиком пролетарской режиссуры, но Е. Е. не отпустили — впрочем, и без него вышло неплохо. В исполнении лидера испанского студенчества Энрике Иразоки Христос, как и задумывалось, вышел не великомучеником, а бунтовщиком с гранатой, анархистом и смутьяном; братом, а не папастером.

Итальянцы радостно завоновались. Всю жизнь они относились к церкви как мы к товарищу Сталину: была, мол, большая работа, скажи, люди были заодно, искусства прощайтесь! — нет же, пришел усасть гад и все испортил. Абсолютизация светлой идеи, как обычно, привела к паленому мясу. Израиль порешавшая на средневековых кострах нас с той поры истою рукоприкладная всякой новой оплехе религиозному насилию, будь то поголовное осеменение монашек Андручей из Перуджи, вопиющее распуство мельнички и трактирщи, богоухуство и

чертоухуство Чосера или еще добрая половина пунктов из того, что якобы господь не велел. Низвергая церковный обычай выкручивать людям руки, ставить на колени, не давая есть и любиться, Пазолини в глазах мирян уподобился куллатому латиноамериканскому бамбино, освобождающему идеи Санди, Кастро и Панчо Вильи от позднейших бюрократических наслоений.

Его Джотто вместо того, чтобы осенить себя крестом перед общенациональной тра-

ности к черту. Вечно все у него рыгают, отовсюду торчат распирающие ткань возроденческие гениталии, дебелие слобные красноречие ирландки тискают своих жилистых «соломенных псов» и человечинкой пахнут. Достаточно взглянуть, как лучший похотью Отелло (Нинетто Даволи) жрет гигантскую черешню с ушей жены, чтобы навеки записать режиссера в неисправимые еретики, и отнять у него лицензию на съемки в храме, и причастия лишить на веки вечные.



лезой, сначала чешет репу, потом подмышки, потом промежность, наскоро выхлебывает баланду и снова скачет расписывать собор боготонными фресками. Ангелы с дудками в «Овечьем сыре» нарежут чумовую твистюру под магнитофон, а смерть несчастного тиаста от обжорства на кресте приравняется к гибели Спасителя.

Ключевой сценой «Трилогии жизни» становится эпизод из «Кентерберийских рассказов», где толпа, едва отведав убогого от обильных совокуплений мужа, перебегает на другой край храма венчать вдову с новым жеребчиком. Церковь сопровождает человека в горе и в радости, тем и хороша, а услов-

Даже из античных трагедий он прежде всего отбирал сюжеты о страстотерпцах, пошедших от любви на грехи великие и казни египетские, — «Мелея» и «Царя Эдипа». Люди его грешат, каются, терпят и песни поют: «Если ограбленный улыбнется, он что-то похищает у вора; если ограбленный плачет, он что-то похищает у себя». Вот и скачет через его скоромное кино петрушка Давид, то в чаплинском котелке, то в почтальонской фуражке, то в доспехах мавра, то в монашеской рясе — чиркает, жрет и расклевывается с проститутками — мадоннами белых наций, пригравшими и вдохновившими абсолютно всех режиссеров, что оканчиваются на «ини».

Ханжи американцы просто сроду не видали костров, постов и схим, они еще шеглы, вот и соблюдают себя в строгости и уважении к канону.

На самом деле членуотудие не грех, Бог сказал («Декамерон»). Дьявол — не чудило с рогами и жаром из пасти, а подлый доносчик, что ходит среди нас и выселяет пидоров на муку мученическую, причём земную, а не небесную («Кентерберийские рассказы»). Бог — тупый противный режиссер, а сын Божий — голодный и блохастый белолита-статист в окружении овечек («Овечий сыр»). Пророк несет каждому божью искру, но не на кончике языка, а просто на кончике («Теорема»). Вмешательство народа возносит наверх посредственностей вроде Касино с Дездемоной, а незадачливых личностей Отелло и Яго, обворав руки, выкидывают на свалку, где они впервые видят облака («Что за облака?»). Горыня тоже не грех: «Декамерон» завершается абсолютной создательскими словами Джотто о готовой фреске и играющего его Пазолини о готовой фреске: «Так уж ли замечательно все это получилось, как было у меня в голове?»

И так далее, веселый он был режиссер. Все навиворот, все назизнанку, все для человека и во имя человека. В «Птицах больших и малых» — «Масках-шоу» на темы марксизма и религии — с новой силой звучит чудная троичная формула перманентной революции: «Призрак бродит по Европе кризиса марксизма, — бунит ученый ворон, прывая по ухабистой неореалистической дороге. — И все же необходимо любой ценой найти новые революционные пути. <...> Чехословацкие поэты и польские! Венгерские поэты! Поэты югославские и советские! Высмейвайте правительстве ваших стран, жертвуйте собой, ибо для того, чтобы революция продолжалась, нужно децентрализовать власть. Конечная цель — анархия. Человек обновляется лишь в процессе бесконечной революции, и только тогда будут вечно шевелиться красивые гвоздики надежды».

Разноцветный Пазолини, сын крестьянки и полковника, ученый Ворон меж буржуазными стертниками и люмен-воробушками, в самом сердце принял идею павшего под кактусами наркомомеора: есть у революции начало — Бог у революции конца. Сначала низверг Бог. Потом низверг черта. Насыпал перцу на хвост красным и белым. Пап, оклевещанный молвой.

И все же успел спеть на пепелище комических куплеты. Программная его картина «Ярость» заканчивалась десятиминутным гимном распоясавшихся морячков «Соловей, соловей, пташечка».

Все-таки птиц малых он всегда любил больше.

Римлянки

Известно, что одно из наиболее великолепных зрелищ в Риме — рынок у Porta Portезе в воскресенье утром. Я иду, держа под мышкой раму, а в руке — кальмара, сквозь толпу, невольно извиваясь, как змея, чтобы пробраться меж рядами прилавков и разложенного на земле товара: Рождество, но солнце, жаркое по-летнему, жжет головы и вытертые стулья, пыльную материю, полдеревянную мебель, всякие фальшивки и маэно. Торговцы заняли свои места еще перед рассветом и, с трудом преодолевая сон под этим чудным солнцем, покрывают хрипло и смеются, охваченные возбуждением, которое овладевает ими по воскресным дням — своеобразным сумасшествием, хмельным утором, — но под шлепами и под платками видны застывшие лица людей, способных каждый миг, не выдержав, упасть куда-нибудь между Святым Антонием и притором дуче.

На величии уличной Porta Portезе длинной километр или два вдоль складов и лагу, того, что осталось от барочных зданий, и грязноватых луговин у Ти-

ра кишит подлище людей, взволнованных очарованием Рождества.

И вдруг за потными мальчишескими лицами, меж согнутыми спинами приобретающих подарки дам, сконфуженных из-за близости к народу, среди пшеничных дохлов иностранцев, налетевших, точно саранча, я вижу — не галлюцинация ли это? — угол римской гостиницы.

То синьоры Ливия Де С* и Паола М*, первая парит среди толпы, как крупный лебедь над заросшим прудом, с небольшой головой на длинной пухлятовой, геральдического рисунка шее, будто бы написанная маньеристом XVIII века, сформировавшимся в Испании и умершим на Сицилии. Крупный изумленный рот, блушущий, вправленный классическим манером между лбом и носом, глядит без выражения и притом загадочно, с девчоночьим смущением, несмотря на материнский уже возраст, карий или голубой — поди пойми. Вторая кажется пониже, чем в действительности (эта, истинная римлянка, довольно крепко бита), всецело поглощенная разложенным внизу; ее огромные глаза с синяками, как у актрис «великого немого», под прямотолстым лбом и смольными волосами, как у матрон с камей, шныряют, любопытные и меткие, среди постоянного внимания товара, сразу выявляемого зорким и практичным взглядом.

Они заметили меня: мы будто агитры, будто собинники. Показываем друг другу, что купили. Обе ташат мелкую посуду. Солнце жжет глаза и кожу, поблескивает на купушках. Кажется, я первый раз встречаюсь с ними днем. Но тут толпа разделяется на и отворачивает друг от друга. Они весело прощаются со мной, помахивая крупными посудинами и выкрикивая: «Это для Феллини... для Феллини...» И растворяются в потоке нечестивцев.

5

За Яникулом, вверх, в новом квартале, полном памяти о Гарибальди, солнце в эту пору безраздельно властвует над всем: лишь распутившие и уже увядающие глицинии испускают сладкий запах тлена, а они усадили весь Монтереве, утонувший в клубах зелени — римской, слишком яркой, что иметь оттенки или варианты, буйной, полавляющей, отчаянной, великолепной.

На солнышке из железных столбиков кафе расположились шесть-семь девушек, довольствуясь лишь солн-

Кафе же это — на углу улиц Братеве Бонне и Карини, рядышком с автобусной остановкой, так что девушки доступны взглядам, уж во всяком случае — водителем пустых автобусов, рассыпавших, что сползаются здесь в ожидании открытия лавки, и завладевшая бензokolонки, огороженной плетенкой из камыша цвета салата. Девушки стесняются и оттого смеются, и хозяин кафе согласен, чтобы они занимали эти жаркие стулья, где на них глядят с веселым видом редкие мужчины, которые к ним, вот таким — одетым кое-как, растрепанным — относятся почти как к сотоварищам, по-свойски. А девушки смеются и смеются. Все одеты одинаково — белые халат и больше ничего, обуты, в общем, тоже — в неказистые чуть стоптанные туфельки по две тысячи

лир, какие носят девушки из народа. И в такую жару на них нет под халатами ни маечек, ни блузек.

На лицах их приметы раннего старения: старшим девушкам не больше двадцати пяти, но кожа у них некрасивая, беслая, потрескавшаяся. Растрепанные пряди обрамляют улыбки, землестые, уже морщинистые лбы. Почти все — худенькие, изможденные. Одна, совсем дурнушка, ко всему еще и маленького роста; выпирающие обтянутые скулы, зубы, расталкивающие скудную мякоть вокруг губ, свидетельствуют, что приехала она сюда работать из какого-то далекого поселка — из Мально, Трулло или, может, Примавера... Но смеется и она, — как прочие, без повода, просто из-за глупой их стыдливости, оттого, что на них эти самые халаты, что они сидят вот так все вместе, привлекая окрестных мужчин, таких же работяг, отнюдь не деликатных, но при этом и не грубых. Вот они, пожалуй, кому угодно — бедные работницы, невзрачные, отмеченные печатью тяжелого труда, — но ведь для этого стоят и они...

6

Какая маленькая моя мама, прямо школьница — прилежная, несмелая и все-таки настроенная непременно выполнить задание... Она боится этих женщин и поглядывает на них с некоторым беспокойством. Они, наверно, ее ровесницы, даже моложе, и притом мамино, но она, такая нежная, осталась девочкой в сравнении с ними, взрослыми. В каждой из них будто бы скрывается мужчина. Пока они еще девочки, девушки, — быть может, нет, по крайней мере не заметно (только эта беззащитная злоба, эта ярость, эта неприязнь, тающиеся часто в их глазах, — откуда они?), но со временем живущий внутри них мужик растет и наделет их своим характером и голосом, а постепенно и своим лицом — острим подбородком, соответствующим носом, волосами. Стоя за заваленными зеленой прилавками, они действительно внушают опасение, и мама не без основания робет, когда простит у них вишни и артишоки сода помидорам кротким старинным христианским венецианским говорком. Выбирают и завертывают артишоки и черешню они с иступлением носильщиков. У них другие в голове. Хоть вряд ли много. Ведь это, в общем-то, торговки — мощные, как самки мула, стойкие, как туфы, с напорным здоровьем, раздражительные, но — торговки, и в их жизни есть не так уж много: закопелый домик, чуть не сверстник Колежее, — может, здесь, в каком-то переулочке на Кампо ден Фьори, может, где-то среди новостроек, у Святого Папы или на виа Портуэнсе, двое-трое-четыре детей — и мальчики, и девочки, и маленькие, и подростки, кто-то, может, даже служит в армии, — муж развалина, который говорит, как будто в горле у него киплящая кастрюля, а на лице его, бескровном или сизоватом, «видна вся Террачина». Все вполне обычно. Так откуда же тогда такая величавость? Почему же смотрятся они, как купола Святого Петра? Да потому, что они — буйволины или свиньи, в самом деле древние, чистые, живучие, как буйволины, — они были, когда не было еще Христа, ни философия — воспринятый народом упрощенный вариант учения стоиков,

простой и ясный: жизнь — борьба. Нужно терпеливо нести крест, стараясь как-то выкрутиться, стиснув зубы. Может, Бог и существует — христианский, католический, — что же, нужно ублажать его свечами и молитвами, а после — выворачиваться кто как может, ведь награда или наказание нам достаются на земле: еда, питье — награда, наказание — сыновья-преступники и пьяницы мужья. Мужчины — скопища пороков, сплошь изменники, бездельники, развратники, женщинам так на роду написано — брать все на себя. И эта скорбная уверенность, запечатленная на их шершавых шишковатых лицах, пугает нас, обуреваемых сомнениями христианами...

7

Переулоч Дель Чинкве в час заката — выложенная булыжником и старым кирпичом убогая кишка, внутри которой растеклась уже темь, в те время как на крыши падают еще не жаркие лучи. Никто уже не работает. Природилась — не как на большие праздники, а как на каждодневный праздник — вечер, — парни и мальчишки топчутся на тротуарах рядом со своими мотоциклами у только что зашторенной витрины мастерской, у парикмахерской или бильярдной. Мальчишки, чумазые, поскольку они не работали, а провозились целый день в пыли, спокойно продолжают свои игры. Старик, чья жизнь подошла к закату, тоже ходит грязные — причисленными, чистыми им быть не обязательно, они уже перебились, но глаза их, слабловидные, мутные, свидетельствуют, что они остались бедными подростками... Главные в этом переулочке — отсутствующие взрослые, те, кто — пусть даже это делы или бездельные юнцы — занят делом, вкалывают или промывают чуту подальше вдоль течения Тибра, в конце Луджидетты, под покрытым сушняком Яникулом... Пока их нету, в переулочке ничего не происходит — все ждущ их возвращения, как будто с поля боя. А пока другие, те, кто здесь — молокооссы и старички, пропавшие вином, — жуят американскую резинку или перекуривают, что раньше или позже тоже стать «отсутствующими взрослыми», чтоб жизнь продолжалась. Оберегают и поддерживают эту жизнь те, кого почти не замечаешь, — толпящиеся у дверей, выглядывающие в одиночку из окошка: одна смуглая, с глазами, как лакируа у ее сына, другая нежная, как маленький еще братишка, третья грубая и злая, как ее отец; они почти что публика, почти что театральный задинок — одинаковые, безымянные, рассыпанные по переулочку, перемешанные с мужчинами, но так, как укусы с маслом. Те делают, работают, жалуются. И однако именно они — самосознание жизни переулочка, реальная его жизнь, а не той, какой она должна быть. Кто угнетен, тот не стремится к свету. Только некоторые девушки, совсем юные, те, у которых за последние два года под свитерком набухла грудь, начинают понемногу вставать против патриархального заповедничества и порабощения их мужчинами, признающими один лишь кодекс чести — подчинение женщины; и вот одна из них, одетая по моде, волнуется, кричит...

Перевела с итальянского
Наталья СТАВРОВСКАЯ

